

Анатолий Федорович Кони

Лев Николаевич Толстой

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-94
ББК 63.3-8
А64

A64 **Анатолий Федорович Кони**
Лев Николаевич Толстой / Анатолий Федорович Кони – М.: Книга по Требованию, 2012. – 40 с.

ISBN 978-5-4241-2740-3

"...Что бы ни писал Толстой, он обращается к голосу, живущему в тайниках человеческой души, и, действуя страстным словом или яркими образами, блещущими правдивостью, заставляет этот голос звучать настойчиво и долго. Этим, конечно, объясняется популярность его имени и трудов далеко за границами России и то внимание, которое возбуждает к себе в Западной Европе и в Америке каждое его, даже незначительное по объему, произведение..."

ISBN 978-5-4241-2740-3

© Издание на русском языке, оформление

«YOYO Media», 2012

© Издание на русском языке, оцифровка,

«Книга по Требованию», 2012

Кони А Ф
Лев Николаевич Толстой

Анатолий Федорович Кони
ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ
СТАТЬИ И ВОСПОМИНАНИЯ О ПИСАТЕЛЯХ

I

Большинство путешественников, посещавших Швейцарию, конечно, знает высокую гору на озере Четырех кантонов, с которой на высоте шести тысяч футов открывается удивительный вид на лежащую внизу равнину, изрезанную железными дорогами, на поэтический Люцерн, на зеленовато-голубые озера, обрамленные гордыми скалами, и на цепь Альп Бернского Оберланда. Величественным блеском их белоснежных вершин при восходе солнца ездят специально любоваться, проводя для этого ночь на вершине Риги, в гостиницах, устроенных на площадке, именуемой РигиКульм.

Раннее утро и холодный воздух большой горной высоты заставляет обыкновенно всех ежиться и кутаться, быть хмурыми и скучиться на слова, покуда внезапно брызнувшие лучи восходящего солнца не заблистают на алмазных коронах окружающих гигантов и не вызовут выражение общего и шумного восхищения. Не раз наслаждался этой незабываемой картиной и я, ожидая, среди собравшихся со всех концов света туристов, торжественного момента, когда над сгустившимся в долинах и ущельях туманом и предрассветными тенями весело загорятся и заблистают снежные высы.

У всех в это время на устах - да, вероятно, и на уме - бывало одно и то же, потому что над всем личным господствовала одна общая мысль о том, что должно вот-вот произойти... Но когда я посетил Риги-Кульм в последний раз летом, в начале прошлого десятилетия, произошло нечто необычное. Собравшаяся в очень раннее утро на вершине обменивались оживленными вопросами и замечаниями, в которых сквозила несомненная тревога по поводу чего-то, что должно было неминуемо, к общей печали, свершиться. Это что-то было напечатанное в вечерних газетах известие, что Лев Николаевич Толстой, бывший в это время тяжко болен, находится в безнадежном состоянии и что ежечасно надо ожидать его кончины. И люди, съехавшиеся из разных стран, немцы, англичане, испанцы и, в особенности, американцы, - были удрученены одним и тем же. Их, перед восходом вековечного светила, тревожила мысль о том, что, быть может, в это время уже закатилось духовное светило, лучами которого столь многие, чужды ему по языку и по племени, надеялись осветить запросы неудовлетворенной души и смущенного сердца. И после великолепного зрелища, - заставившего некоторых, без сомнения, почувствовать то, что чувствовал Кант, созерцая звездное небо, - за рannим завтраком продолжались разговоры о Толстом, причем, узнав, что я русский (и на этот раз единственный в отеле), многие обращались ко мне с вопросами о том, знаю ли я его лично и можно ли верить газетному известию, - и далеко не одно простое любопытство слышалось в их словах.

Судьба, обыкновенно жестоко лишающая нашу родину выдающихся ее сынов в самом расцвете их сил, едва они успеют расправить свои крылья во всю меру своих способностей, на этот раз была необычайно милостива и сохранила нам Толстого еще на несколько лет. Приближается 80-летие его жизни, и он еще творит, как бы оправдывая могущий быть примененным к нему стих покойного Жемчужникова:

Но в нем, в отпор его недугам, Душевных сил запас велик!

К этому дню, от предполагавшегося юбилейного чествования которого он отказался по таким трогательным, глубоким и задушевным основаниям, появится множество статей с оценкой творчества и деятельности, личности и значения "великого писателя земли русской". Представить верную и подробную его характеристику как писателя и деятеля, однако, очень трудно. Он еще живет среди нас, он слишком еще вплетен своими творениями в нашу ежедневную действительность, чтобы можно было говорить о нем вполне объективно. Вместе с тем большинство русских развитых людей, - не ослепленных бессильной по отношению к нему злобой и умыщленным непониманием, - может сказать вместе с поэтом: "Сей старец дорог нам, он блещет средь народа...", и поэтому трудно говорить о нем совершенно беспристрастно.

Вот почему простые воспоминания о встречах с ним могут оказаться более своеевременными, давая посильный материал для будущего историка и критика. Этот материал будет представлять собою нечто вроде отдельных кусочков мозаики, самих по себе не имеющих цены, но в своей совокупности, в руках искусного мастера, дающих возможность создать цельную, продуманную и гармоническую картину.

Желая дать несколько таких кусочков, я решился записать настоящие свои воспоминания о встречах и беседах с Львом Николаевичем. Но прежде, чем обратиться к ним, мне хочется сказать два-три слова о том взгляде на Толстого, который предшествовал нашему личному знакомству, двадцать с лишком лет назад, и остался у меня неизменным до сих пор.

Соединение глубины проницательного наблюдения с высоким даром художественного творчества отражается во всех произведениях Толстого и дает ряд незабываемых типических образов. Будучи вполне национальным писателем по мастерскому умению освещать бытовые явления народной жизни, давая, как никто до него, понимать их внутренний смысл и значение, он в то же время был всегда и прежде всего вдумчивым исследователем человеческой души вообще, независимо от условий места и времени.

Его сочинения - это целые эпopeи, в которых индивидуальная жизнь его героев сплетается с жизнью и движениями массы. Достаточно в этом отношении указать на его "Севастопольские рассказы" и на его удивительную по замыслу и исполнению "Войну и мир", в которых индивидуальное и общественное начала идут рядом, взаимно дополняя и освещая друг друга. Глубокая наблюдательность Толстого, которую отнюдь не надо смешивать с острой проникновенностью психологического анализа Достоевского, дает ему возможность в самых разнообразных явлениях жизни и в действиях самых разнородных людей подметить и изобразить стороны или черты, ускользающие во вседневной жизни от взора читателя. И последний остается пораженным их знаменательною правдивостью, иногда впервые увидав воплощенным в ярких художественных образах то, что он много раз на своем веку видел, но никогда сознательно не замечал.

На все человеческие отношения отзывался Толстой, - и что бы он ни изображал, везде и во всем звучит голос неотразимой житейской правды. Он сам, в одной из первых повестей своих, развертывая яркую картину одновременного проявления в группе людей, призванных на защиту Севастополя, высоких порывов человеческого духа и низменных сторон человеческой природы, определил задачу и основное свойство своего творчества. "Тяжелое раздумье одолевает меня, - го-

ворит он. - Может, не надо было говорить этого.

Может быть, то, что я сказал, принадлежит к одной из тех злых истин, которые, бессознательно таясь в душе каждого, не должны быть высказываемы, чтобы не сделаться вредными, как осадок вина, который не надо взбалтывать, чтобы не испортить его. Где выражение зла, которого надо избегать? Где выражение добра, которому должно подражать в этой повести? Кто злодей? Кто герой ее? Все хороши и все дурны... Герой же моей повести, которого я люблю всеми силами души, которого старался воспроизвести во всей красоте его и который всегда был, есть и будет прекрасен, - правда".

Но не одному изображению правды посвятил Толстой свой могучий талант. Он - даже в ущерб интересам литературы и объему своего художественного творчества - отдался исканию правды. Эта вторая сторона его деятельности не менее значительна, чем первая. Бестрепетно рукою всегда стремился он в своих драматических произведениях, сказках, рассказах и повестях, в своих философских и этико-политических сочинениях - снять обманчивые и заманчивые покровы с житейской и общественной лжи, в чем бы эта ложь ни проявлялась - в теориях и практике, в традициях и учреждениях, в обычаях и законах, в условной морали и безусловном насилии. Взвывая к внутреннему человеку, призывая его "совлечь с себя ветхого Адама", он страстными и убежденными страницами стремится доказать, что "царство божие" зиждется на вечных потребностях и запросах человеческой души, независимо и даже вопреки тем условиям, в которые хочет их поставить извратившееся в своих стремлениях человеческое общежитие. Можно не соглашаться с некоторыми отдельными его положениями или сильно сомневаться в возможности их целесообразного осуществления на практике, но нельзя не отнести с горячим уважением к писателю, который не удовлетворяется заслуженною славой великого художника, а стремится всею силою своего таланта служить разрешению назревающих вопросов жизни, во имя и с целью уменьшения страданий и господства действительной, а не формальной только справедливости.

Ко всем вопросам, выдвигаемым жизнью или возникающим в глубине души, начиная с вопроса о семье и воспитании и кончая отношением к смерти, Толстой подходит с глубокой верой в нравственную ответственность человека перед пославшим его в мир, с убежденным словом о необходимости духовного самоусовершенствования, независимо от политических форм, среди которых приходится жить.

Он будит совесть, ставя ее - и ее одну - верховным судьей жизни, побуждений и деятельности человека. Что бы ни писал Толстой, он обращается к голосу, живущему в тайниках человеческой души, и, действуя страстным словом или яркими образами, блещущими правдивостью, заставляет этот голос звучать настойчиво и долго. Этим, конечно, объясняется популярность его имени и трудов далеко за границами России и то внимание, которое возбуждает к себе в Западной Европе и в Америке каждое его, даже незначительное по объему, произведение.

II

В ясное теплое утро 6 июня 1887 года я сел на станции Ясенки, Московско-Курской железной дороги, в присланную за мною рессорную тележку и направился в Ясную Поляну Я ехал туда по любезному и настойчивому приглашению

Александра Михайловича Кузминского, который, будучи женат на сестре графини Толстой, Татьяне Андреевне Берс (авторше нескольких прекрасных рассказов из народа быта), жил в те годы каждое лето в Ясной Поляне. Он был моим преемником по званию председателя Петербургского окружного суда, и у него в доме я слышал удивительное чтение А. А. Стаховичем "Власти тьмы" - чтение, всецело захватившее присутствовавших лиц, взволновавшее собравшееся светское общество изображением глубокой драмы в среде, где предполагалось, на взгляд поверхности наблюдателя, все простым и грубо-обыденным. Там же пришлось уже мне самому читать по рукописи "Крейцерову сонату" - и иногда останавливалась от внутреннего волнения, сообщавшегося и слушателям этого удивительного произведения, с которым следовало настоятельно знакомить всех молодых людей, вступающих в жизнь.

Есть произведения, оказывающие властное влияние на все миросозерцание, когда они своевременно воспринимаются молодою душой. Если верно замечание, что в смысле характера "дитя есть отец взрослого", то в смысле политических и общественных идеалов очень часто юноша - отец будущего деятеля. Недаром великий немецкий поэт напоминает юноше о необходимости, став взрослым мужем, относиться с уважением к "нам своей молодости", а Гоголь восклицает: "Забирайте с собою в путь, выходя из мягких юношеских лет в суровое ожесточающее мужество, забирайте с собою все человеческие движения, не оставляйте их на дороге: не подымете потом!"

Такою книгою в годы моей ранней молодости было превосходное произведение Лабуэ "Париж в Америке", содержащее в себе, в увлекательном изложении и отчасти в фантастической форме, целый катехизис политической, общественной и даже, во многих отношениях, частной жизни.

Таким может и должен являться рассказ Позднышева, способный установить чистый и облагородить уже установившийся взгляд на отношение к женщине и в то же время заставить молодого человека очень и очень призадуматься перед браком, заключаемым у нас столь часто с легкомысленною поспешностью при полном, под влиянием плохо прикрытой чувственности, забвении о налагаемых им нравственных обязанностях по отношению к создаваемой "на скорую руку" семье.

Чувство смущения и некоторой досады на себя владело мною, покуда я ехал среди милых картин среднерусской природы. Я знал, что увижу Льва Толстого, - и не мельком только, как было в 1863 году в Москве, в гимнастическом заведении [Бильо] на Большой Дмитровке, - проживу под одной с ним кровлей два или три дня и узнаю его ближе; и эта-то именно неизбежность короткого знакомства и вызывала во мне некоторое недовольство на свою поспешную готовность откликнуться на приглашение в Ясную Поляну.

Я по опыту знал, что знаменитых или вообще пользующихся известностью людем лучше знать издали и рисовать себе их такими, какими они кажутся по всем действиям и писаниям. В этом отношении мне не раз приходилось убеждаться, что и "тьмы низких истин мне дороже нас возвышающий обман". Конечно, каждый раз в таком случае приходилось легко находить широкие "смягчающие обстоятельства", но я предпочел бы не видеть таких сторон в жизни и личных свойствах некоторых из этих людей, которые шли вразрез с составившимся о них отвлеченным, восторженным или умиленным представлением. Вот и теперь,

думалось мне, я увижу человека, пред глубиной таланта, пред искренностью и глубокой наблюдательностью которого я издавна привык преклоняться, и, быть может, и даже весьма вероятно, увезу с собою другой образ со столь часто встреченными мною в других отталкивающими чертами самолюбования, недоброжелательного отношения к товарищам по оружию и фантастической нетерпимости к чужим убеждениям.

Особенно в последнем отношении тревожила меня встреча с Толстым. Его мне часто рисовали ярым спорщиком и человеком, не допускавшим несогласия со своими этическими или религиозными взглядами, а я не люблю спорить, давно уже разделив убеждение, что мнения людей, создавшиеся самостоятельно, похожи на гвозди: чем сильнее по ним бить, тем глубже они входят. Соглашаться же безусловно и быть лишь почтительным слушателем мне не хотелось.

Проехав сквозь обветшалую каменную ограду въезда в Ясную Поляну, я остановился у флигеля, в котором жил А. М. Кузминский. Было еще очень рано. Лишь через час пришел мой гостеприимный хозяин и увел меня на длинную прогулку, а затем, уже в десятом часу, все обитатели Ясной сошлись за чайным столом на воздухе под развесистыми липами, и тут я познакомился со всеми членами многочисленных семейств Толстого и Кузминского. Во время общего разговора кто-то сказал: "А вот и Лев Николаевич!"

Я быстро обернулся. В двух шагах стоял одетый в серую холщовую блузу, подпоясанную широким ремнем, заложив одну руку за пояс и держа в другой жестяной чайник, Гомер русской "Илиады", творец "Войны и мира". Две вещи бросились мне прежде всего в глаза: проницательный и как бы колющий взгляд строгих серых глаз, в которых светилось больше пытливой справедливости, чем ласкающей доброты, - и необыкновенная опрятность и чистота его скромного и даже бедного наряда, начиная с какой-то светло-коричневой "шапоньки" и кончая самодельными башмаками, облекавшими белые носки. Толстой чрезвычайно просто приветствовал меня и, наливая себе в чайник кипяток из самовара, тотчас же заговорил об одном из дел, по которому я в конце семидесятых годов председательствовал и которое вызвало в свое время много горячих споров и ожесточенных толков. Его манера держать себя, лишенная всякой аффектации, и содержательность всего, что он говорил, в связи с искренностью тона, как-то сразу сняли между нами все условные и невольные преграды, почти всегда сопровождающие первое знакомство. Мне почувствовалось, как будто мы давно уже знакомы и лишь встретились после продолжительной разлуки. После чая мы пошли гулять втроем, но Толстого постоянно останавливали различные лица из домашних и из окрестных жителей, так что в первый день я мог более ознакомиться с его обстановкой, чем с ним самим.

Жизнь в Ясной Поляне в это время отличалась большой регулярностью и, если можно так выразиться, разумным однообразием. Все, и в том числе Лев Николаевич, вставали для деревни довольно поздно, около девяти часов утра. До одиннадцати продолжалось питье чая, иногда в несколько приемов, ввиду того что в Ясной Поляне одновременно жили дети, молодежь, взрослые и старики. В одиннадцать часов Лев Николаевич шел к себе, читал почту и газеты и принимал посетителей, которые наезжали в Ясную ежедневно. Одни приносили действительно измученное сердце, терзаемое каким-нибудь роковым вопросом, ответа на который они жадно ждали от Толстого; другие, преимущественно иностран-

цы, - бескорыстное, но подчас назойливое любопытство; третьи - тщеславное намерение иметь основание похвастаться разговором с "великим писателем земли русской"; четвертые являлись просто просителями денежной помощи, представлявшими из себя целую гамму отношений к хозяину Ясной, начиная от застенчивой скромности и кончая напускною развязностью, иногда граничившою с вымогательством; пятые - корыстную любознательность репортеров и интервьюеров, которая сквозила в "беспокойной ласковости" их взгляда, как будто перелагавшего, в быстром соображении, каждую слышанную фразу или предмет обстановки в то или другое количество печатных строчек. Толстой сносил их всех без благодушной и услужливой чувствительности или безразличного сочувствия, но терпеливо и, где нужно, с серьезным участием, а жена его, Софья Андреевна, нередко простирала на приезжих свое хлебосольное гостеприимство. К часу все собирались завтракать, и вслед за тем Лев Николаевич уходил к себе, запирался и становился невидимым для всех до пяти часов, когда он выходил пройтись по деревне и по парку после усиленного труда за письменным столом. В шесть часов все обедали сытно и вкусно, причем хозяину подавали блюда растительной пищи. Полчаса после обеда проводили на террасе, выходящей в сад, за питьем кофе и куреньем. Приезжали знакомые из Тулы, приходили деревенские дети, чтобы играть под руководством детей Льва Николаевича или бегать с криками нескрываемого восторга на гигантских шагах. Лев Николаевич слушал детский шум и хохот, обменивался короткими фразами с окружающими и... курил папиросу самодельной работы! Тогда он еще позволял себе эту "слабость". После семи часов все общество поднималось и под его предводительством совершало обширную, более чем двухчасовую прогулку. В это время, то отставая от всех, то их опережая, Лев Николаевич вел оживленную беседу с кем-либо из гостей или рассказывал что-либо той манерой, о которой я скажу ниже. Около половины десятого все возвращались к самовару, простокваше и легким закускам, и начиналась непринужденная общая беседа, иногда прерываемая желанием послушать пение молодежи, которая исполняла хором цыганские песни или знакомила нас с местными "частушками", вытесняющими, к несчастью, старую русскую песню. Лев Николаевич весело улыбался, прислушиваясь к тому, как молодые голоса выводили:

"Били-били в барабан по всем городам", "Конфета моя леденистая, полюбила меня - молодца раменистого", "Наше сердце не картошка - его не выбросишь в окошко", "Дайте ножик, дайте вилку - я зарежу свою милку", "Стоит миленький дружок - с выражением лица" и т. д.

Около полуночи все расходились.

Все происходило в обширном флигеле, уцелевшем от сгоревшего когда-то большого дома. На всем виднелись следы былого прочного довольства и зажиточности. Но все - и обстановка, и стены, и двери, и лестницы - было сильно тронuto временем и, очевидно, давно не знало эстетического ремонта. Мебель была старая, хотя и довольно удобная, но в небольшом количестве. Нигде не было никаких признаков роскоши и чего-либо похожего на разные *bibelots* и *petits-riens* [безделушки (фр.)], которыми полны наши гостиные, а развешанные без всякой симметрии по стенам портреты предков довольно угрюмо выглядывали из старых и местами облезлых рам.

Когда в первый вечер, простившись, я просил показать мне дорогу во флигель,

занимаемый Кузминским, Лев Николаевич сказал мне, что я помещен на жительство в его рабочей комнате внизу, и пошел меня туда проводить. Это была обширная комната под сводами, разделенная невысокой перегородкой на две неравные части. В первой, большей, с выходом на маленькую террасу и в сад, стояли шкафы с книгами и висел, сколько мне помнится, портрет Шопенгауэра. Тут же, у стены, в ящике лежали материалы и орудия сапожного мастерства. В меньшей части комнаты находился большой письменный стол, за которым были написаны в свое время "Анна Каренина" и "Война и мир".

У полок с книгами в этой части комнаты для меня была поставлена кровать. Здесь в течение дня работал Лев Николаевич. Приведя меня в эту комнату, он над чем-то копошился в большей ее части, покуда я разделялся и лег, а затем вошел ко мне проститься. Но тут между нами началась одна из тех типических русских бесед, которые с особенной любовью ведутся в передней при уходе или на краешке постели. Так поступил и Толстой. Сел на краешек, начал задушевный разговор - и обдал меня сиянием своей душевной силы.

С тех пор все дни моего пребывания в Ясной проводились и оканчивались описанным образом. Иногда, простившись со мною, Толстой уходил за перегородку и там что-нибудь разбирал, вновь начинал разговор, но, затронутый или заинтересованный каким-либо моим ответом, снова входил в мое отделение, и прерванная беседа возобновлялась. Один из таких случаев остался у меня в памяти.

"А какого вы мнения о Некрасове?" - спросил он у меня из-за перегородки, что-то передвигая. Я отвечал, что ставлю высоко лирические произведения Некрасова и считаю, что он принес огромную пользу русскому молодому поколению, родившемуся и воспитанному в городах, тем, что, вместе с Тургеневым, научил его знать, ценить и любить русскую сельскую природу и простого русского человека, воспев их в берущих за душу стихах; что же касается до его личных свойств, то я не верю яростным наветам на него и во всяком случае считаю, что то что он был игрок, еще не дает права ставить на его личность крест и называть его дурным человеком. "Он был, продолжал я, - одержим страстью к игре, обратившейся, если угодно, в порок, но порочный человек не всегда дурной человек. Нередко, вне узких рамок своей пагубной страсти, порочные люди являются такие стороны Души, которые многое искупают. Наоборот, так называемые хорошие люди подчас, при внешней безупречности, проявляют грубый эгоизм и бессердечие. Жизненный опыт дает частые подтверждения этому. Игрошки нередко бывают смелыми и великодушными людьми, чуждыми низменной скучности и черствой расчетливости; пьяницы часто отличаются, в трезвом состоянии, истинною добротой. Недаром Достоевский сказал, что в России добрые люди - почти всегда пьяные люди. Наконец, история нам оставила примеры "явных прелюбодеев", проникнутых глубоким человеколюбием и вне служения своим страстям явивших образцы гражданской доблести и глубины мысли". Выслушав это мнение, Толстой вышел из-за перегородки со светлым выражением лица и, сев на краешек, сказал мне радостно:

"Ну вот, вот, и я это именно всегда думал и говорил, - это различие необходимо делать!" - и между нами снова началась длинная беседа на эту тему с приведением фактических ссылок и доказательств в подтверждение нашей общей мысли.

Меня, конечно, очень интересовало отношение Толстого к крестьянам, про которое ходило столько разнообразных и оригинальных слухов. Как нарочно, пред тем я совершил поездку по России и видел несколько типических отношений господ к мужику. Мне пришлось быть в имении в Малороссии и наблюдать шутливо-иронические разговоры между теми и другими в их взаимных сношениях, за которыми, однако, не чувствовалось не только никакой теплоты и искренности, но, напротив, виднелось большое взаимное недоверие и отчуждение, близкое к ненависти. Я провел неделю в поместье средней руки в середине России, где наблюдал фамильярно-заискивающее отношение помещика к зажиточным крестьянам-арендаторам и окружающим имение однодворцам, причем невольно бросилось в глаза вынужденное установление и соблюдение некоторого равенства не во имя какого-либо общего начала, а исключительно в целях выгод и удобства неотвратимого сожительства. Я прожил несколько дней в великолепном громадном поместье моего старого сослуживца, в черноземной полосе, и наблюдал то снисходительное и холодно-милоустое отношение к крестьянам, в котором виднелась полная обособленность двух миров - барского и мужичьего, - напоминавшая те отношения, которые, вероятно, существовали у медиатизированных немецких принцев к их бывшим подданным.

Ничего подобного я не нашел в Ясной Поляне. Отношения между семьею графа и соседями были просты и естественны. Обитатели яснополянского дома были старыми и добрыми знакомыми, готовыми во всякое время прийти на помощь в болезни, несчастии и недостаче, - лечить и советовать, похлопотать и понять чужую скорбь. Все это, однако, совершалось без заигрыванья и заискивания и без холодного, презрительного исполнения долга по отношению к "меньшому брату". Таким же характером отличалось и обращение крестьян со Львом Николаевичем. Преувеличенные рассказы о кладке печей, пахании и т. п., дававшие повод к дешевому иронизированию со стороны высокомерных составителей фельетонных очерков и статеек, сводились, в сущности, к тому, что в лице Толстого крестьяне могли видеть не городского верхогляда и не деревенского лежебоку, а человека, которому знакомы по опыту тяжелый труд и условия их жизни. В их глазах Толстой был не только участливый, но и сведущий человек. Недаром мне рассказывали, как крестьяне в своих отзывах про него говорили:

"Это мужик умственный, хотя и барин". В одну из наших прогулок Толстой, описывая свое путешествие с богомольцами к русским обителям, кажется, в Киев или в Оптину пустынь, - причем спутники считали его за своего и поэтому не стеснялись его присутствием, - с тонким юмором рассказывал мне про прозрительные отзывы о "господищах", которые ему приходилось слышать в пути и на постоянных дворах. Было несомненно, что яснополянские крестьяне ни в каком случае не считали его одним из этих "господишек", а в их глазах он был, по праву наследования и по личным своим свойствам, старший, самый знающий и заслуживающий наибольшего уважения человек, называвшийся барином лишь потому, что жил в своем доме среди обширного поместья, а не в избе, и что к нему с почтением относилось начальство и всякого рода "господишки". Такой взгляд на него был очевиден и сказывался в ряде внешних проявлений, когда он, гуляя со мною, вступал в беседу с крестьянами или заходил в их дома. Всюду встречали его уважение и доверие и ни малейшего следа угодливой почтительности и льстивой суеверности. Иногда в беседе крестьян с ним звучали и заду-